

скоро, если бы ей не напоминали, что у неё была мама. У всех её подруг есть мамы! У каждого человека была мама. Девочка забыла бы, как она выглядит, если бы не остались фотографии, множество фотографий. И особенно одна, на которой мамочка такая красивая и смеётся.

А через месяц, когда у Катеньки был день рождения, пришло письмо от мамы! Она писала, что очень любит нас и очень скучает. Но сейчас она находится очень далеко. Очень-очень далеко! Там, где растут пальмы, плавают большие океанские киты и гуляют «паровозиком» слоны, взяв друг друга хоботом за хвост, а с пальмы на пальму прыгают обезьяны, потому что они едят те самые бананы, которые растут на этих пальмах. А ещё там есть хлебное дерево, и на нем растут самые настоящие булки, посыпанные маком. Она писала, что очень долго не сможет к нам приехать. В письме лежала картинка с поздравлением. На нем мама улыбалась лучезарной улыбкой и протягивала вперед красивый торт с четырьмя зажжёнными свечами. На концах свеч горел жёлтый огонёк. А торт был усыпан красными и белыми розочками. Такой вкусный, вкусный!

Через год, когда девочке исполнилось пять лет, снова пришло письмо от мамы. На нем было пять зажжённых свечей. И ещё через год пришло письмо, на котором мама со своей лучезарной улыбкой дарила торт с шестью свечами. Больше писем не было!

О. ПАНОВ

Мотл Шейнкман, или трагическая грамматика света

Il naquit dans une bibliothèque qui n'existait pas encore*.

Он родился в городе с двойным дном – Екатеринослав, Днепропетровск, Днепр, и ещё десяток неназванных. Лето 1903 года: река разливалась в своих старых берегах, как бы предвкушая метафору. Имя, данное ему, было Мотл, а фамилия – Шейнкман, что можно перевести как «красивый человек». Судьба, конечно, не могла этого простить. Внутри имени уже таилась ирония существования: еврейский мальчик, предназначенный для света, но рожденный в полумраке.

Позже он станет Светловым. Не от слова «свет», а от акта света: от вспышки, от ослепления. От попытки быть ярким в мире, где яркость часто стоит жизни.

Алхимия имени

У литературы есть тайные органы. Один из них – Комиссариат Псевдонимов. Там служили все: от Пруста до Сартра, от Бедного до Светлова. Но псевдоним «Светлов» был не маской, а пророчеством. Он светился на фоне других, как фонарь на полустанке: не освещая дорогу, а просто напоминая, что тьма не бесконечна.

* Он родился в библиотеке, которой доселе не существовало

Мотл не стал Михаилом – он стал Светловым. В этом выборе заключено не отречение, а самофигурация, точнее – попытка подменить судьбу словом. Он пытался написать себя заново. Не «переписать», как делают мемуаристы, а именно написать – впервые и навсегда.

Гренада как невозможность

Есть слова, которые, произнесённые однажды, становятся географией внутренней утопии. Для Светлова таким словом стала Гренада. Он никогда там не был — как мы никогда не бываем в местах, которые лучше всего знаем. Он выдумал её из вывески, как Данте придумал Рай: чтобы не сойти с ума.

Стихотворение «Гренада» – это не поэзия о революции. Это поэзия о невозможности революции, написанная языком, которому не положено было мечтать. Это текст-подделка, но подделка под настоящее, которого не было. По сути, он выбил визу в страну, не признающую виз.

Метафизика юмора

Светлов не был остряком – он был коллекционером интонационных провалов, мастерски подменяющим отчаяние улыбкой. «Дружба – понятие круглосуточное» – формула, которой он оправдывал вторжение в чужое одиночество в три часа ночи. Но ведь не только про телефон это: про тоску, про боязнь тишины, про необходимость быть услышанным в любое время суток. А вот другая:

«Порядочный человек – это тот, кто делает гадости без удовольствия.»

Так могла бы сказать тень Ларошфуко, если бы она жила на Мясницкой. Это и есть вся светловская алхимия: отравить цинизм иронией до состояния афоризма.

Телеграмма как литературная диверсия

Бывают строки, в которых проступает не просто стиль – а культурный срыв, спрессованная ярость, которой отказано в прямой речи. Именно в таких состояниях Михаил Светлов обращался к главному жанру эпохи – телеграмме. Не как к средству связи, но как к форме оружия, маскируемого под просьбу. Когда ситуация с деньгами достигала точки невозврата, он отправлял в редакцию следующее послание:

«Вашу мать беспокоит отсутствие денег. Пожалейте мать вашу.» Внешне – почти забота. Внутри – фугас. Слог построен на зеркальной инверсии: сначала грамматически вежливо, потом – риторически невыносимо. Структура обманчиво симметрична, но несёт на себе все приметы замаскированной матерной конструкции.

Редактор, прочитав, обязан был улыбнуться. Но под этой улыбкой начинался механизм стыда. Телеграмма не просит – она обвиняет, но с такой филигранной двусмысленностью, что даже цензор мог бы под ней расписаться.

В этом Светлов — весь. Он не матерится, но мат звучит через него, как бас в структуре хорала. Он не грубит – он превращает грубость в форму сострадания. Это и есть высшая техника выживания в обществе, где любое прямое слово может стоить головы: научиться говорить «пожалейте мать

вашу», когда хочется сказать совсем другое – и сделать так, чтобы все поняли.

Смерть по-еврейски, жизнь по-русски

Его брак с княжной Родам, его одиночество, его мягкая точность – всё это обретает кристалл в той фразе, которую он бросил в лицо юному хаму в ЦДЛ:

«Она любит петь грузинские песни. И хором. А я — еврейские. И один.»

Ничего не объясняя, он объяснил всё. И страну, и язык, и одиночество, и брак, и невозможность длительной гармонии. Язык как происхождение

Он никогда не стеснялся своего «смешного языка». Он пел им, как птица поёт сломанным крылом. В стихах — самоирония, как способ не умереть от стыда за несовершенство:

Я ведь не профессор МГУ. Я всего лишь скромный сын Бердичева...

Это не жалоба. Это почти гордость, просто проговорённая другим тоном. Еврейская бедность, превращённая в метафору хлеба – купленного на первый гонорар, разделённого между родными как ритуальная маца.

Война без аллегорий

Он не писал о войне метафорами. Он воевал. Брал в плен четырёх немцев. Был там, где реальность слишком остра, чтобы её можно было превратить в аллереорию. Там поэт молчит, а говорит земля.

Проклятие успеха

«Гренада» сделала его великим – и заперла в себе. Цветаева говорила: «У Есенина ни одного такого не было». Но что с того? Он продолжал писать, словно выписываясь из собственной тени. Каждое новое стихотворение – это попытка доказать себе, что он не только “Гренада”, но и человек.

«Когда я хочу прочитать хорошее стихотворение, я сажусь и пишу его».

В этом – ни капли самодовольства. Только усталость человека, который больше не может полагаться ни на кого, кроме себя. Эпилог

Он умер под именем Михаил Светлов. Но был – и остался – Мотлом Шейнкманом. Не как паспортный факт, а как фигура речи, в которой сжаты парадоксы века: имя и псевдоним, свет и тень, поэт и наёмник эпохи.

В своём дневнике Владимир Огнев записал: «Старик, а что такое бутылка? Одна капля. Только большая.»

Вот и Светлов – не океан. А капля, в которой растворилась эпоха. Только большая.

Портной Изя и его философия пуговиц

Познакомился я с портным Изей Наумовичем при весьма курьёзных обстоятельствах. Сажу я в трамвае, читаю газету “Правда”, а напротив меня господин средних лет пришивает пуговицу к собственному пиджаку. Прямо в трамвае! Иголка у него такая, что хоть гвозди забивай, а нитки – будто канат для буксира.

– Простите, – обращаюсь к нему, – а не проще ли дома заниматься портняжным делом?

– Молодой человек, – отвечает он, не поднимая глаз от работы, – время – деньги, а деньги – время. Пока я доеду до дома, потеряю полчаса. А за полчаса можно пришить три пуговицы, заштопать дыру в локте и ещё подумать о смысле жизни.

– О смысле жизни?

– А как же! Вот смотрите: пуговица – это философия. Она держит весь костюм, но сама крошечная. Без неё человек превращается в дикаря, который ходит, придерживая одежду руками. Целая цивилизация держится на пуговицах!

Так началось моё знакомство с Изей Наумовичем Пуговкиным – ибо такова была его фамилия, что казалось предначертанным свыше.

– Ну что вы хотите, с такой фамилией – сам Господь велел мне шить... – смеялся он однажды, распарывая подкладку.

В его мастерской на Сретенке творились чудеса. Изя не просто шил – он философствовал над каждым стежком. Клиенты приходили не только за костюмами, но и за житейской мудростью.

– Вы знаете, – говорил он, отпаривая брюки, – почему люди носят галстуки? Это петля цивилизации! Человек добровольно надевает на шею удавку, чтобы показать: я культурный, я готов принести комфорт в жертву приличиям.

Заходит к нему как-то толстый купец, заказывает фрак:

– Мне нужно, чтобы я в нём выглядел стройным.

– Голубчик, – отвечает Изя, – я портной, а не волшебник. Хотите выглядеть стройным – меньше ешьте. А я могу только сделать так, чтобы ваша полнота выглядела солидно. Есть разница между толстым бедняком и толстым богачом. У бедняка – просто живот, а у богача – респектабельное брюшко.

– Я не могу сделать вас стройным, но могу сделать вашу полноту выразительной. Стройность – это анатомия, а солидность – это фасон.

Приходит молодая девушка, просит ушить платье:

– Изя Наумович, сделайте так, чтобы я казалась взрослее.

– Дитя моё, – философствует он, примеряя, – одежда не делает человека старше, она делает его увереннее. А уверенность – это и есть взрослость. Носите это платье так, будто оно стоит тысячу рублей, и все подумают, что вам уже тридцать.

Но самое удивительное было в том, как Изя работал с пуговицами. У него была целая система:

– Металлические пуговицы – для людей с твёрдым характером. Перламутровые – для мечтателей. Деревянные – для тех, кто любит природу. А пластмассовые... – он презрительно морщился, – пластмассовые для тех, кто не понимает красоты. Я даже думаю иногда, что если бы каждому младенцу на рождение давали не свидетельство, а пуговицу, люди бы росли более ответственными.

Однажды приносят ему старый офицерский мундир царских времён – пришить новые пуговицы.

– Знаете что, – говорит Изя, рассматривая золотые пуговицы с двуглавым орлом, – эти пуговицы видели больше, чем мы с